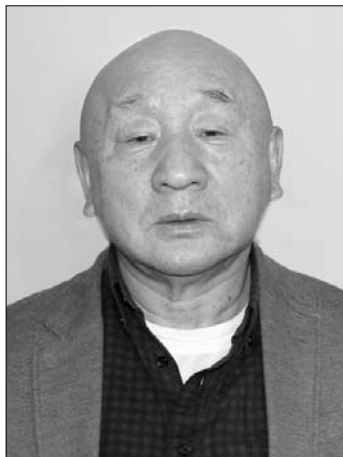


ВЛАДИМИР ЛИМ



СВЕТИТ МЕСЯЦ

РАССКАЗ

Была годовщина смерти отца, и вы поехали домой, в Долину.

Весь этот год вы ей не писали. Нельзя сказать, что вы не любили её, но никогда не называли мамой, не могли называть и по имени-отчеству — Роза Искандеровна, — с детства говорили “вы”, а это “вы” в разговоре с ней и “она” в разговоре между вами стало её именем.

Вы быстро росли, притолоки родного дома стали низки для вас, тесной — кроткая долина; вы ушли за перевал к Большой воде.

Другие женщины, юные, тонкорукые, отстирывали залоснившиеся вороты ваших рубаш, другие ветры трепали над серыми городскими дворами ваше заношенное в трудах бельё.

Вы стали отцами, а жены ваши — матерями, огрубели их руки, помутнились, поскучнели от долгих забот их ясные взоры; вы заглядывали в чужие лёгкие глаза, жадно грешили душой и торопливо — телом, а она ждала вас.

И сейчас она ждала вас, выглядывала из густой не оседающей пыли под горячим железным боком сильно состарившегося корейского “Хёндая”.

ЛИМ Владимир Ильич родился в 1948 году в п. Кировском Соболевского района Камчатской области, закончил школу в Петропавловске, затем Литературный институт им. Горького в Москве. После службы в армии работал корреспондентом отдела экономики “Комсомольской правды”, в 90-е вернулся на Камчатку, работал в областных газетах, возглавлял еженедельник “Вести плюс ТВ”. Повести и рассказы писателя Владимира Лима публиковались в журналах “Октябрь”, “Дружба народов”, “Дальний Восток”, и в других центральных всероссийских изданиях. В 2015 году в Москве вышла книга “Горсть океана”, в 2019–2020 годах в литературном альманахе “Камчатка” был опубликован роман “Смерть приходит на расвете” о трудных судьбах простых людей – жителей побережья полуострова.

Вас разделяли большие немывые стекла; некая дама с белым пудельком на руках стояла на ступеньках, не решаясь ступить в клубящуюся у самых дверей белесую завесу. Пуделёк, поворочав женской своей головкой, выскользнул на застеленную гравием площадь, и кинулись к нему моस्ताстые псы. Дама вытянула руки и бесстрашно шагнула наперерез. Посмеиваясь над ней и её собачьей любовью, повалил народ в двери — за раму застывшего деревенского светлого дня.

Она касалась вас, ощупывала ваши щетинистые лица, становясь на цыпочки; маленькая, сухая, она жадно и торопливо тянула к вам чёрные твёрдые ладони: здравствуй, Илюша, сыночек, здравствуй, Никита, сыночек, здравствуй, Алёша, сыночек, здравствуйте, родные деточки...

Она пыталась нести ваши и без того лёгкие ноши, она семеняла меж вас, прислоняясь на мгновение то к Илюше, то к Никите и, конечно же, к Алёше, как к вырвавшимся из леса деревьям.

Шли быстро, потом ещё быстрее в надежде опередить её и прийти к родителям втроём, хотя бы несколько минут побыть у них без неё.

Она не отставала: как всегда, так и в старости легка на ноги. Вы злились, нет, злился старший — Илья, а вы ему сочувствовали, но и её, побледневшую, с потом в серых чистых морщинах, жалели.

Гуськом, невольно смягчая шаг, пошли за оградку, услышали, как коротко прихлопнул Илья за собой железную калитку.

Вы не оглянулись, сели на скамью, но знали, что она, отрубленная от вас, с ласковой болью смотрит в ваши крепкие крутые спины.

Широкий плоский холмик ровно засажен кудрявым клевером; у памятника из светлой мраморной гладкой плиты со свежими мелкими царапинами — счищали птичий помет — бархатились по-женски траурно и ветрено анютины глазки.

Из плиты дружно и удивлённо смотрели в этот свет отец и мать — это вы соединили их, примирив посмертно. Всё пространство, охваченное оградкой, было обжитым и ухоженным, и даже самый воздух над тёплой травяной могилкой пах чем-то домашним, крепким...

Вы выпили: Илья, Никита и Алёша. Потом, наполнив стаканчик всклень, оставили родителям, примяв донышком головку клевера. Вяло закусили городским очерствевшим хлебом. В молодой рябине, в сквозившей кроне, пряталась сорока и не своим — певучим влажным — голосом звала кого-то. Так же гуськом вышли. Она нерешительно приблизилась.

— Спасибо вам, могилу соблюдаете, — сказал Илья.

Она замахала руками, роняя привычные слёзы:

— Господь с тобой, Илюша, мне это в радость, в утешение...

— В радость?

— И в утешение, — легко подтвердила она.

Вновь семеняла; глазами, руками, опавшим лицом об одном молила: живой к нему не пускали, так мёртвой пустите...

Вы спали во дворе, раскинув вольно тяжёлые руки в верёвочках вен. Илья сердито дергал большой головой, напрягался телом — и во сне ворочал грубые литые части перетрудившихся дизелей. Никита лежал колодой, лишь иногда покойно и сыто шевелил губами. Алёша спал на боку в жалобной детской позе и во сне тосковал по молодой жене.

Вы проснулись далеко за полдень. Она оттрепала в мыльной воде ваши запыхавшиеся сорочки, подсунула под ваши тяжёлые головы белые подушки и веяла полотенцем на ленивых комаров.

Тебя, Алёша, она любила за красивое лицо и лёгкое сердце.

Тебя, Никита, за спокойный податливый нрав.

Тебя, Илья, больше всех, за вьедливую, обо всем страдающую душу.

Не ты ли стерёг отца от неё, не ты ли со взрослым презрением провожал её взглядом в родительскую половину, не ты ли разбил большое мамино зеркало, когда она засмотрелась в него, не ты ли пачкал и рвал на себе и братьях рубахи, марал её тканые половики, подрезал лезвием её платье в маминном шкафу?

Она молчала, не жалуясь, по целым дням не разгибаясь, латала, стирала, шила; иногда против воли ты засматривался на неё — так плавно,

красиво ворочая кистью, продёргивала она иглу, так робко сушила свои волосы у открытого окна.

Слёзы закипали оттого, что мамы нет и вместо неё в доме эта красивая чужая женщина. Это её, вздрагивающую, с откиннутым набок, неприятно алевшим лицом, нёс над бродом отец, а мама, больная, родная, плакала, накрыв своё горе больничным одеялом.

Ты воткнул в мыло острые сапожные гвозди, и она, стирая, поранила ладонь, и, когда она, слизывая кровь с мыльной руки, плакала над корытом, ты жалел её, но против воли показал язык, и она ударила тебя, потом, опомнившись, била ударившей рукой о тонкий край ванны до тех пор, пока...

Вас разбудили ягодники: сестра по отцу Варя, её муж прапорщик Соловей и племянница Элла. Во дворе стало тесно: от металлического блеска “Ладды”, от стереофонической музыки, от воркованья Вари, от пущенных на волю розовых свиной и визга Эллы.

Соловей втаскивал в дом вёдра со смородиной, увесистые кули с сахаром, по-хозяйски стуча подкованными сапогами. Ходил по дому, как на родном плацу, покрикивал на баб, появлялся на крыльце и подмигивал — сначала без ремней, потом без кителя и засаленного в узле галстука и, наконец, в шикарных махровых спортивных трусах, адидасовских кроссовках, курортно загорелый. Он шёл на вас, раскинув руки, в мнимой угрозе шевелил круглыми плечами: а ну, богатыри, померяемся силушкой!

Вы смотрели лениво из-под опущенных век, как Соловей кружились, вцепившись в Алёшу, тянул его от земли, багровея стриженным затылком, отрывал — и вдруг каким-то ловким коротким заморским движением тихо усадил в колосившийся пырей.

Алёша не поверил, кинулся, с весёлой яростью, оскалив молодые зубы, звучно рухнул кулём — и так несколько раз.

Послали Никиту, Никита, хитрец, отвертелся: не люблю я это дело.

— А мы тебя, жеребца обутого, по-простому, по-русски, — погрозились Илья, поднимаясь на Соловья.

Зять был на голову ниже, казался слабее, но Илья не верил, остерегался, забирая в ладонь служивый затылок, сторожил его умелые ноги...

Тут и она подоспела, рассудила мокрым полотенцем; сердцем почуяв ещё далёкую беду. Соловей подчинился, с показным великодушием оставил поле боя, занозив тебе душу.

Зять надумал мыться. С трудом достали из колодца несколько вёдер мутной воды. Колодец давно уж обмелел, заилился, теперь из него не пили. Сруб подгнил, зацвёл омертвело. А вы ещё помнили его живой древесный цвет, освещавшую его желтизну; вода чистая, калёная, всегда прохладно пахла листовяком.

Чистить колодец теперь опасно — сруб, утратив прямизну, ослабел, было събышно, как тяжело и придушено он дышал.

Был бы хорош в застолье Соловей, да заел своей похвальбой:

— Сколько вы имеете? Ты вот, старшой, сколько имеешь на верфи? Я имею сто, на всём казённом опять же! Иди к нам! Заметь — у меня склад, а на складе — ого-го!

Алёша с ответным восторгом внимал, Никита морщил лоб, с ученической заботой считал в уме чужие деньги, а зять цвёл — приятен не достаток, а уважение на нём. Соловей вёл застолье широко, прежде чем выпить, долго говорил, каждого одаривал улыбкой или лаской. К нему тянулись — справа дочка Элла обнимала, слева влюблённо теснилась жена, и только ты, Илья, смотрел подавленно, ревниво...

Затеялись петь. Соловей только мигнул, а Варька уже летела с гитарой, стыдливо, как от мужского намёка, алея лицом. Он долго прилаживался, трогал струны, щура чёрный глаз от струйки сигаретного дыма. И ты, Илья, узнал повадку умелого гитариста, и так утешился, будто долго пел с ним о любимом.

Заиграл Соловей странно знакомое, но неузнаваемое, и, только когда запела Варя, придерживая сильный рвущийся голос, ты оторопело понял — с нежным глубоким чувством выводила она слова никчёмной песенки:

*По полям, по полям
синий трактор едет к нам,
у него в прицепе кто-то
песенку поёт...*

Так же вдохновенно, жмурясь, пел и Соловей. Всякий раз на слове “трактор” он восторженно поднимал палец, окидывая всех мечтательным, призывающим к сочувствию взглядом.

Пели все, кроме тебя и... Элды. Она легонько, но назойливо подталкивала отца под локоть, потом объявила: “Зачем вы поёте мою песню? Пойте свою!”

— Песни не еда, — ласково поправил Соловей, — песни общие!
И тогда запел ты:

*Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны!*

Соловей поддержал снисходительным цыганским перебором, но ты сконфуженно умолк — забыл слова. Ты даже закрыл глаза, напрягся, как в работе, всем телом, усилием мышц помогая памяти.

— Я тут решил подстроиться, — выручил Соловей. — Скинутесь бы...

Ты, переживая свою забывчивость, невнимательно кивнул.

— А давай, — согласился следом Алёша.

— Я как все, — отозвался Никита.

— Как это — подстроиться? — очнулся ты.

— Планировочку изменить, а то! Входишь в дом и сразу кухня, негигиенично, каждый опять же гость нос в твою тарелку сует.

— Не тобой заведено, не тебе и переиначивать!

— Не от хорошей жизни заведено, от отсталости...

— Ты вот что, Соловей, не свисти, дом этот мои родители ставили, нам он родной, и всё останется как есть, ага? — ты притянул его за ворот, холодея душой, зять послушно подался к тебе, мирно разведя свои ухватистые руки.

Ты пошёл из-за стола. Все смотрели мимо. Ты чувствовал: что-то не так, неладно — то ли на сердце, то ли в жизни. Она стояла лицом к тебе, быстро крутила ручку мясорубки. На полу в тазах — пересыпанная сахаром кислая смородина.

— Что, сынок?

Волосы русые поредели, теперь сохнут быстро... перестала крутить.

— Устал, сынок?

Всегда так смотрит, будто ждёт чего-то.

Ты только раз назвал её мамой, в смертной тоске увидел в ней родную: телега опрокинулась в протоке, вынырнул на мгновение, увидел её лицо над мутным потоком, плывущие волосы, крикнул задушенно: “Мама!” — она так рванулась, что уронила грудную Варьку, едва не потеряла, спелёнутую, в быстрой, густой от размытой глины воде.

— Похудел на лицо, так тебе виднее, — ласково похвалила она.

— Вы простите, что мы вас мамой не зовём, — ты, тоскуя за неё, смотрел слепо и не видел, как она задохнулась, зажмурилась, будто в лицо плеснули чем-то горячим, — вы нас растили, поднимали, вы нам родная, — ты замолчал и увидел вдруг, как подломились её колени, как, закручиваясь на пятках, мягко осела она на пол, успел подхватить...

Слабая улыбка сходила с её распавшихся губ, веки дрожали.

— Что вы, зачем вы, — говорил ты, ещё не веря. В детстве, бывало, играя с вами, падал отец в траву, притворялся мёртвым.

Через её лицо, расправляя морщины, бежала быстрая грозная тень.

— Эй, ну-у... Братя! — жалобно крикнул ты. — Кто-нибудь...

Ввалились гурьбой, Соловей быстро приник к её груди ухом.

— О-ё-ёй, мамочки родные! — криком рвала душу Варя.

— Молчать! — отрезал Соловей. — Аптечку! Бегом!

— Какую аптечку? Где аптечка? — голосила Варя.

Соловей, оттолкнув её, бросился вон, вернулся, на ходу потроша автомобильную аптечку. Вы с надеждой смотрели на него: пальцами раздвинул ей зубы, поднял язык, сунул таблетку.

— Иди сюда, — позвал он Варю.

— Ой, мамочки, боюсь...

— Иди сюда, дура, — он так дёрнул её книзу, что она со стуком упала на колени, — если не очнётся сейчас, дыши ей в рот, дыши!

— Не умею я, ой, не умею, — ревела, мотая облитым слезами лицом, Варя.

Вы пошли за Соловьём, Алёша сел к нему в машину, а ты некоторое время бежал за ними, держась за капот.

Вернулся в дом — как в могилу. Осторожно, не чуя тяжести, перенесли мать в спальню. Варвара, давась рыданиями, приникла к её губам — дышала за неё, потом ты, потом Никита.

Соловей и Алёша вернулись с врачом. Врач выгнала всех, и вы, одинокие, столпились на кухне.

Соловей ссыпал в бак для белья смородину, она не вмещалась, он давил её безжалостно, по локоть топя в ней руки, выволок бутылку со спиртом, грохнул её во дворе...

— Как же так, Илюшенька, как же это? — причитала Варя.

— Это я, — покаялся ты, — я только прощения попросил... попросил, — чем-то горячим грубым перехватило горло, — что мы мамой никогда не звали...

— Ой, убил, убил! — кинулась Варя, ударила кулачками по поникшей голове.

— Мать она нам, — сказал Алёша, — будем звать её мамой, повыкали...

— Будем, — сказал ты.

— Будем, если не... — не договорил Никита.

— Живая ваша мама, — весело сказала врач с порога.

Вы увидели, что врач совсем ещё юная женщина. Радуюсь, она подошла к вам и облегчённо оглядела простыми глазами. Алёша быстро обнял её, она не смутилась, подождала и сказала:

— Глубокий обморок... сердечно-сосудистая дистония...

Варя вас к матери не пустила, взяла её на себя, и вы согласились.

Никита, Алёша и зять уехали с врачом, тебе не с кем было разделить радость, ты ходил вокруг дома, трогая тёплые стены, потом присел под открытыми окнами, чтобы быть поближе к родным голосам.

В сумерках так чисто и ясно светились в пол-оконницы белые занавески.

— Ой, мама, зачем ты их так любишь, — говорила Варька, — люби нас, мы тебе всё ж родные...

— Вы мне родные, — тихо, тепло говорила в темноту мать, — а они мои сироты, и сердце от них болит...

Ты встал и пошёл прочь от дома; в быстрой круговой ходьбе тебе было легче выносить муку сострадания, вместе с резким и глубоким дыханием выветривалось из неё что-то жгучее, и она оседала нежным тёплым дымом.

В стороне, пыля до небес, мягко неслась "Лада", белым огнём фар опалая картофельное поле.

Кто-то лёгкий, тихий стал позади тебя, ты обернулся, увидел родное тёплое лицо.

— Это вы? — удивился ты и осёкся.

— Ничего, ничего, родный, ничего, Илюша, — утешила сына мать.

Вы долго молча возвращались. Над далёкой рекой, над ясным стеклом сумерек восходил острый месяц, он светил всем — над полем, над домом и родными могилами.

...Когда-нибудь уйдём и мы, но над смертной мглой светлый месяц взойдёт, протянутся острые ясные тени, и кто-то другой над светлым полем песню другую споёт.